АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Александр Иванович Герцен
Долг прежде всего

Аннотация

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокоторжественным праздником…»

Содержание

Александр Герцен 4
I. За воротами 5
II. Дядюшка Лев Степанович 15
III. Нежный братец покойного дядюшки 33
IV. Троюродные братья 40
V. Наследник 55
Вместо продолжения 78

Александр Герцен
Долг прежде всего

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокоторжественным праздником».

I. За воротами

Сыну Михаила Степановича Столыгина было лет четырнадцать… но с этого начать невозможно; для того чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться.

Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть, раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, – и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, по-видимому не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестами избы; но, боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше как за воротами большого московского дома Михаила Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, вороты толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии, в ней вставлена доска, на доске сидит обтерханный старик, по-видимому нищий.

Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михайла

Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русый юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михаила Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому что ему особенно нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности – название Ефимки; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнию, по мере того как страсть к двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза два, три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что вороты были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи, – в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь – жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться – тем дело и кончилось. Ефимка потосковал, никому не говорил о том ни

слова и стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михаилом Степановичем.

Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михаилом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани; Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине – потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресение вся дворня приходила христосоваться с барином. Причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом – отчасти в предупреждение других подарков. «А помнишь, – говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосованья, – помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?» Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отве-

чать: «Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче было, помню, вот словно вчера». – «Ну, оно вчера не вчера, – прибавлял Михаила Степанович, улыбаясь, – а небось пятой десяток есть. Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мети, да пьяных много теперь шляется, так ты, как смеркнется, вороты и запри. Что, не крадут ли булыжник?» – «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз, другой поглядеть», – отвечал дворник – и барин давал знак, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя: «Ведь подумаешь, какая память у Михаила-то Степановича, помнит что – а ведь это сущая правда, бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то знай кнутиком погоняет – ей-богу, – а сколько годов, подумаешь», и он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести в полвека), думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например дворников.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, боль-

ше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал, в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгонять мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противуположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо, казачок в сенях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука, однако и этого довольно было, чтоб отстращать ее; она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине, она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревшись еще раз, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и назвать его.

– Ась, – пробормотал Ефим, – чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ними говорит.

– Ефимушка, – продолжала незнакомка, – вызови сюда Кирилловну.

– Настасью Кирилловну, а на что вам ее? – спросил дворник, что-то запинаясь.

– Да ты меня разве не узнаешь?

– Ах ты мать, пресвятая богородица, – отвечал старик и вскочил с лавки, – глаза-то какие стали, матушка… эк я кого не опознал, простите, матушка, из ума выжил на старости лет, так уж никуда не гожусь.

– Послушай, Ефим, мне некогда, коли можно, вызови Настасью.

– Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, – оно все можно, я сейчас для тебя-то сбегал бы, – да вот, мать ты моя родная, – и старик чесал пожелтелые волосы свои, – да как бы, то есть, Тит-то Трофимович не сведал? – Женщина смотрела на него с состраданием и молчала; старик продолжал: – Боюсь, ох боюсь, матушка, кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Ненподист, не приведи господь, какая тяжелая рука, так в конюшне богу душу и отдашь, христианский долг не исполнишь.

Старик еще не кончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худощавая, подслепая, вся в морщинах, с седыми волосами.

– Ах, матушка, не извольте слушать, что вам старый сыч этот напевает, пожалуйте ко мне, я проведу вас, – ведь из окна, матушка, узнала, походку-то вашу узнала, так сердце-то и забилось, ах, мол, наша барыня идет, шепчу я сама себе да на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попал-

ся казачок Ванюшка, преядовитой у нас такой, шпионишка мерзкой: что, спросила я, барин-то спит? – Спит еще – чтоб ему тут, право, не при вас будь сказано.

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валериановна не успела раскрыть рта и, наконец уж, перебила ее вопросом:

– Настасьюшка, да здоров ли он?

– Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житье-то! Ведь аспид-то наш на то и взял их, чтоб было над кем зло изливать, человеконенавистник, ржа, которая, на что железо, и то поедом ест. У Натоль же Михайловича, изволите знать, какой нрав, весь в маменьку, не то, что наше холопское дело, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости господи, ну, а они все к сердцу принимают.

Марья Валериановна утерла наскоро слезу и шепнула: «Пойдем же, Настасьюшка».

Настасья строго-настрого наказала Ефимке, если Тит подошлет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем взошла, сказать со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марью Валериановну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд мели ли когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в маленькую каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло

Степанович, наконец, дозволил занять ее, с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем, на нем покоился покрытый полотенцем самовар, в соседстве чайника и двух опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины, страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви – должно думать, что цель была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно выходившего из воды, судя по голому плечу, лицо у него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутый волютами вниз, голову он держал крепко на сторону, разумеется, этот жандарм был – Александр Македонский.

Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась Марья Валериановна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала ото всей души, приговаривая: «Да это он, мой голубчик, в именины подарил».

– Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать?

– Не извольте беспокоиться, матушка, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел, так он и пошел в трактир принимать; самый вредный человек и преалчный, никакой совести нет, чаю пары

две выпьет с французской водкой как следует, да потребует бутылку белого, рыбы, икры; как чрево выносит, небось седьмой десяток живет, да ведь что, матушка, какой неочестливый, и сына-то своего приведет, и того угощай. Ну, да он угодит еще под красную шапку, сын-то, озорник. Покуда старой-то пес жив, так все шито и крыто, а как бог по душу пошлет, мы все выведем, и как синенькая у кучера пропала…

Длинная речь in Titum осталась неоконченною, молодой человек лет тринадцати, стройный, милый и бледный от внутреннего движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валериановны и спрятал голову на ее груди; она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну. привел же бог. привел же бог, – говорила она. – Да дай же посмотреть на тебя…», и она всматривалась долго, с тем упоением преданным, святым, с каким может смотреть одна любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чисты и открыты, она молилась ему.

– Дружок ты мой, какой ты худенькой, – говорила она ему, – здоров ли ты?

– Я здоров, маменька, – отвечал молодой человек. – Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня.

– И, батюшка, – вмешалась няня, – что это, уж такой умник и не умеете держать ответ. Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, кото-

рое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке.

II. Дядюшка Лев Степанович

Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей в маленькой комнатке Настасьи.

Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки; он возил молодого барина в салазках при жизни «дяденьки». Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый ручной представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку, напротив, родители не жалели, и как только он кончил курс своего воспитания, то есть научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений, после Петра I и до Екатерины II, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Помощник и ставленник его Лев Степанович премудро и вовремя умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел же-

ниться на племяннице другого временщика, которую тот не знал куда девать, и, наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив аннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтоб в его удалении был один расчет или дипломация; причина столько же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле; родители его давно померли, Степушка был отделен, именье, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою, верст сотню по Можайке от города. Как же не ехать ему было в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке.

В Москве он остался недолго, заложил на Яузе, вместо деревянного дома, каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего именья не расстроил, а напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленым поме-

щиком, с той сноровкой, с которой из лейб-гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст в замену падшей, ну да после держи ухо востро. Вдруг никто не думает, не гадает, барин с старостой и с десятскими на двор. «Эй ты, Акулька, покажи-ка горшки для молока». – Не вымыты, тут бабе и расправа. «А ты, Нефед, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то», – словом, поучал их, как неразумных детей, и мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «Точно, бывало, спуску не дает, ну, а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет, то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры, у него были мальчики, единственно употребляемые днем на то, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома. У него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты: все, начиная с самых личностей, было домашнее: рожь и гречиха, горох и капуста, и не один корм… Умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвету маренго-клер и широкие панталоны из небеленого холста, которым были обложены

рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, – талант совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долею лазутчик, камердинер Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без особого чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавёра очень недаром доставались Титу, особенно потому, что он часто попадался на глаза. Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и, когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти «характерные» минуты сильно доставалось Титу, – побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, – говорит, – покажи ей свою рожу и скажи – вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с ра-

ки Варвары-мученицы, но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович особенно был оттого несчастен, однако он сердился за это, как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана, что такое таракан, нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит – да и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве именья. «Я, – говорил он, – денно и нощно хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу, а подумаю на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю, по матери пошел, баба продувная была, и в нем хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещики, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; все же лучше, если бы был настоящий наследник!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степа-

новича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал клиросу и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши шаливших мальчишек и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения, он на дом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне; диакон действительно так мастерски делал возглас и пол-оборота, что можайские купцы приезжали любоваться и находили, что иеродиакон Саввина монастыря далеко будет пониже липовского.

Монастырь этот был верст тридцать от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения – возов десять прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес, не годный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному; она посылала в монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину (иноки, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином),

несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных, так что с которой стороны ни посмотришь, все видно одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбежного помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, которая любила их и както боялась.

Других гостей почти никогда не являлось у Столыгиных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны с своей женой. Ехавши из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который хотя уже тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее Столыгин употреблял на прием талек, холстины, орехов, на чищение ягод, сушение трав, варение грибов; Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может, сделает доступною и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патриархальное. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену

его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, – с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстух и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу, торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает, тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем корнаком, и молдаванке. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться; даже больше двух стаканов квасу (хозяева пили кислые щи, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы) ему не дозволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор и почти грех думать, что бог так создал дыню, что одну закраин-

ку можно употреблять в снедь.

В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать, – кричал он, – добро пожаловать, отец Ксенофонтий! Ей, Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить». – «Не вижу, государь мой, не вижу», – отвечал слепой. «Да вот с правой-то стороны», – и он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик, с тою остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состоял в том, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скоромного в постный день, и когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что это ты на старости лет в Молдавии, что ли, в турецкую перешел, в какой день утираешь скоромное». У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным – это очень забавляло Столыгина.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премиер-майор по чину. «Ваше высокородие, – отвечал Столыгин, у которого

кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции, – да ты бы ехал в полк – ну, я тебе пришелся не по нраву, прости великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не под лета; да и что же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в женино именье». – «Лев Степанович, – робко прибавляла Марфа Петровна, – ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам сродственник». – «Вот? В самом деле? – возражал еще более разъяренный Столыгин. – Скажите пожалуйста, новости какие! А знаешь ли ты, что, если бы он не был твой дядя, так у меня не только б не сидел за столом, да и под столом». Испуганная майорша дергала мужа за рукав, начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодеяний. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие, он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой и пьяной толпой.

После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал по именному назначению той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животе нехорошо», и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навещала мужа во время его гастрических припадков; она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно носила ромашку, для того чтобы при случае припом-

нить такую услугу и такое предпочтение.

Лев Степанович, запивши кислыми щами или ромашкой сон, отправлялся побродить по полям и работам и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок – единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал, Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести и тотчас кричал горничной: «Танька, не зевай», и Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит, от поясницы. После чая Столыгин вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то середи игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих; как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним; но притом дружба дружбой, а служба службой. «Бывало, задаст такую баню, и бумаги все по полу разбросает, и раскричится. Ну, иной раз и чувствуешь, что прав, да и не отвечаешь, надо дать место гневу. Он же у нас терпеть не мог, как отвечают; тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю».

Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорью Григорьевичу… «Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть, – ну, только и тогда был преле-

нивой и преглупой. Вхожу я в переднюю, насилу его растолкал, чтобы скорей за парикмахером сбегал. Парикмахер пришел, причесал меня… тогда носили вот так, три пукли одна над другой; я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу от графа к его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит, с двумя лакеями приехал – и говорит: „Раненько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, камердинеру доложу“. – „А можно, – говорю я ему, – где-нибудь обождать?“ – „Как не можно, комнат у нас довольно. Вот пожалуйте в залу“. Я взошел, люди полы метут да пыль стирают, я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне: „Вы от графа?“ – „Я, батюшка, я“. – „Пожалуйте за мною к его светлости в гардеробную“. Вхожу я, князь изволит в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, таким громким ласковым голосом мне и молвили: „Благодари графа, я сегодня доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник, старайся вперед заслуживать такой отзыв“. – „Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу“. – „Хорошо, хорошо, – сказал князь и изволил со стола взять табатерку, золотую. – Государыня тебе жалует в поощрение“. Как он это изволил сказать, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать, но

он отдернул. Я его в плечо, князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал, – да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дело-то было просто, целуя светлейшего в плечо, я весь вымарался в пудре. Князь потом за ее величества столом рассказывал об этом, ей-богу». И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

Но большей частию вместо аристократических рассказов и воспоминаний Лев Степанович, угрюмый и «гневный», как. выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил молдаванку, с бешенством критиковал каждый ход и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович отправлялся в спальню, замечая: «Ну, слава богу, вот день-то и прошел», – как будто он ждал чего-то или как будто ему хотелось поскорее скоротать свой век.

Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами, в киоте красного дерева. Две лампадки горели беспрестанно перед образами. Лев Степанович всякий вечер молился иконам, кладя земные поклоны или по крайней мере касаясь перстом до земли. Потом он отпускал Тита. Тит, пользуясь единственным свободным временем, отправлялся на село к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, всего же чаще к старосте, который на мирской счет покупал для дворовых сивуху. Тит брал с собою кого-нибудь из лакеев, осо-

бенно же Митьку-цирюльника, отлично игравшего на гитаре.

Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устроивая и улучшая свое именье, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с селами и деревнями составлял какой-то особенный мир, разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенной генеральным межеванием. Даже «Московские ведомости» не получались в Липовке. Войны раздирали Европу, миры заключались, троны падали; в Липовке все шло нынче, как вчера, вечером игра в дурачки, утром сельские работы, та же жирная буженина подавалась за обедом, Тит все так же стоял у дверей с квасом, и никто не только не говорил, но и не знал и не желал знать всемирных событий, наполнявших собою весь свет.

Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и этому застою, и притом очень крутой. Однажды после обеда Лев Степанович, употребивши довольно рассольника с потрохами, жирной индейки и разных сдобных и слоеных пирожков и смочив все это кислыми щами, перешел в гостиную закусить обед арбузом и выпить княжевишной наливки. Освежившись арбузом и разгорячившись наливкой, он в самом лучшем расположении духа пошел в кабинет уснуть. Но как нарочно в зале застал Настьку, говорившую в дверях передней с известным нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степанович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось до горничных. Ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал страш-

ным голосом и схватил в углу стоящую палку. Митька, горячая голова как все артисты, ударился бежать. Столыгин за ним, со всем грузом индейки, потрохов, под квасом и арбузом; Митька от него, он за ним, Митька на чердак по узенькой лестнице, Столыгин сунулся было, но увидел, что судьба его не создала матросом. На крик барина сбежалась вся дворня. Багровый от гнева, сбиваясь в словах и буквах, барин велел поймать Митьку, где бы он ни был, и посадить в колодку, пока он решит его судьбу; отдавши приказ, он, усталый и запыхавшись, удалился в кабинет.

Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, на конюшне и, наконец, во всем селе. Агафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичьей перед иконой всех скорбящих заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся во всех чрезвычайных случаях на поврежденную, бормотала сквозь зубы «о царе Давиде и всей кротости его» и беспрестанно повторяла: «Свят, свят, свят», как перед громовым ударом.

Титу не пришлось долго Митьку искать; он сидел босиком в питейном доме, уже выпивши на сапоги сивухи, и громко кричал: «Не хочу служить аспиду такому, хочу царю служить, в солдаты пойду, у меня нет ни отца ни матери, за народ послужу, а уж я ему не слуга и назад не пойду, а силой возьмет, так грех над собой совершу, ей-богу, совершу».

«Митрий, Митрий, ты не горлань, – говорил ему Тит, – и такого вздора не ври; барина рука длинная, она тебя везде

достанет, а ты лучше ступай со мной, а не то ведь и руки свяжем, на то барской приказ».

Красноречие Тита победило, наконец, Митьку, и он, протестуя и говоря, что завтра же грех совершит, пошел, прибавляя: «Нет, Тит Трофимович, вязать меня не нужно, я не вор и не собака, чтобы меня на веревке водить – мы дойдем и без веревки». На дороге Митька во весь голос пел «Ай, барыня, барыня!» с теми богатыми вариантами, которыми изобилуют все передни.

Неумытный Тит, посадив своего друга в колодку, побежал к дверям с кислыми щами. В пять часов Марфа Петровна присылала узнать, проснулся ли барин; Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется, еще не изволили просыпаться», – доложил Тит. Марфа Петровна тихо отворила дверь и так вскрикнула вдруг, что Тит опрокинул кувшин с кислыми щами. Закричать было немудрено. Старый барин лежал, растянувшись возле кровати, один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно-стеклянным выражением; рот был перекошен, и несколько капель кровавой пены текло по губам. С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня; грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Марфу Петровну вынесли в обмороке и положили ей под ложечку образ, в котором были мощи св. Антипия; молдаванка вбежала в комнату с каким-то

неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила ногу.

Тит, как более сильный характер, первый пришел в себя и снова тем повелительным голосом, которым отдавал барские приказы лет двадцать, сказал: «Ну что тут зевать! Сенька, втащи сюда корыто да воды. А ты, Ларивон, сбегай-ка за батюшкой. Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, медного пятака, на правой глаз-то ему надобно положить…»

И все пошло, как по маслу.

Освобожденный арестант Митька без малейшего злопамятства приготовлялся, как записной грамотей, ночью читать взапуски псалтырь с земским и пономарем, просил только молдаванку дать ему табаку позабирательнее, на случай, если сон клонить будет.

Дворня была испугана. Она доставалась человеку неизвестному; к нраву старого барина применились, теперь приходилось вновь начинать службу, и как, и что будет, и кто останется в Липовке, кто поедет в Питер, на каком положении – все это волновало умы и заставляло почти жалеть покойника.

Через два дня, после необыкновенных напряжений, написал Тит будущему обладателю следующее письмо:

«Все Милостивейший Государь, Государь батюшка и единственный заступник наш Михайло Степанович.

По приказанию Ее Превосходительства тетушки вашей, а нашей госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начер-

тать Вам, батюшка Михаила Степанович, сии строки, так как по большему огорчению они сами писать сил не чувствуют богу же угодно было посетить их великим несчастием утратою их и нашего отца и благодетеля о упокоении души коего должны до скончания дней наших молить Господа и Дядюшки Вашего ныне в бозе представившегося Его превосходительства Льва Степановича, изводившегося скончаться в двадцать третье месяца число, в 6 часов по полудни. Оного же телу вынос затрашнего числа.

Так как мы по известности ваши, то батюшка и все милостивейший Государь, могите призреть нас яко сирот отца лишенных и не оставить милосердием вашим недостойных подданных, а мы чувствуем как обязаны усердствием Вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшки так и вам все едино, как вся дворня так и выборный Трофим Кузмин с миром.

Пребывая Нижайщий раб ваш Тит – если изволите помнить что при покойном Дядюшке камардинером находился.

Село Липовка. 1794 года Июня 25 дня».

III. Нежный братец покойного дядюшки

Михаил Степанович был сын брата Льва Степановича – Степана Степановича. В то время, как Лев Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и целовал светлейшее плечо, карьера его меньшого брата разыгрывалась на ином поприще, не столько громком, но более сердечном.

Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворня, он постоянно оставался в деревне под крылом материнским. В двенадцать лет старуха няня мыла его еще всякую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтобы он хорошенько позволил промылить голову и не кричал бы на весь дом, когда мыльная вода попадала в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начинали ясно оказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но даже не без удовольствия смотрела на удаль сынка и исподволь помогала ему, что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей не представляло непреоборимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; любовь, как выражаются поэты, была

единственным призванием его, он до кончины своей был верен избранному пути буколико-эротического помещика.

Степушка недолго пользовался покровительством родителей. Ему было семнадцать лет, когда он лишился матери, года через три спустя умер его отец. Смерть родителей и честное предание их тела земли не доставили Степану Степановичу столько беспокойств и сердечных мук, как приезд брата; он вообще не отличался храбростью, брата же он особенно боялся. Не зная, что делать, он совещался с своими подданными и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала и девичья. Он взял некоторые меры: всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставивши налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице, сильную шадровитость, косые глаза. Лев Степанович все понял, обделил брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и благословляемый им уехал назад.

Проводивши брата, Степан Степанович принялся с своей стороны за устройство именья. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились хоть куда, учители играли один на торбане, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли после обедни крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов и песней. Степан Степанович, откушавши, выходил в сени, в халате нараспашку, окруженный горничными, тут он садился, горничные готовили чай и обмахивали мух павлиновыми

перьями. Благодетельный помещик угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошовыми серьгами, иногда сам участвовал в хороводах, но чаще засыпал под конец; чай имел на него очень сильное влияние, хотя он и подливал французской водки, чтобы ослабить его действие.

Материальной частью хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли вотчиной; до барина доступ был не легок, кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться, барин все рассказывал горничным. Случилось раз, что крестьянка с большими черными глазами пожаловалась барину на старосту, Степан Степанович, не давая себе труда разобрать дела и вечно увлекаемый своим нежным сердцем, велел старосту на конюшне посечь. Староста обмылся пенничком и кротко вынес наказание, не думая оправдываться, несмотря на то, что он в деле был прав; тем не менее желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю, другую староста через повара доложил барину, что-де, несмотря на барское приказание, такая-то баба сильно балуется и находится в очень близких отношениях с своим мужем, возвратившимся с работы в городе. Поступок этот, так грубо неблагодарный, глубоко огорчил Степана Степановича, и он велел бабу назначать без очереди в работу. Похудев, состарясь через год, она на себе носила доказательства, что приказ был исполнен в точности. После этого примера никто, кроме горничных, не смел делать оппозицию старосте и повару.

Веселая сельская жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околотке; явились соседи, одни с целью его женить на дочери, другие обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому, что им казалось пить чужой пунш приятнее своего. Он поддавался всему; весьма вероятно, что его бы женили и обыграли, но нежное сердце его спасло. Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную – так сердце у него и опустилось… он приехал домой расстроенный, влюбленный, да как! Есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он дозволял себе кой-какие шалости, то больше, чтобы не отставать от привычек, нежели из удовольствия.

Пристал Степан Степанович к соседу, чтобы тот продал Акульку; сосед поломался, потом согласился с условием, чтобы Столыгин купил отца и мать. «Я, – говорит, – христианин и не хочу разлучать того, что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему три тысячи рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить пять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами и матерями.

Сельская Брунегильда поняла именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела своего господина в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты. Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не

давала, а держала их в страхе и повиновении – и всего этого было ей мало, ей хотелось открыто и явно быть помещицей, она стала питать династические интересы. И года через два Степан Степанович поехал в четвероместной колымаге покойного родителя своего в церковь и обвенчался с Акулиной Андреевной. Брак их, не так как брак Льва Степановича, не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда новобрачные воротились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом кормилица в золотом повойнике поднесла десятимесячного сына; брак их был благословлен заблаговременно. Грудной ребенок этот – Михайло Степанович, которого Ефимка возил на салазках, а он его кнутиком подгонял.

После свадьбы барин сделался призрак. Акулина Андреевна приняла бразды правления сильной рукой. Она с глубоким политическим тактом взяла все меры, чтобы упрочить свое самовластие, – но, как всегда бывает, взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота, и на ней-то все оборвалось. Мало знакомая с врачебной наукой, она не только не ограничивала, но развивала в Степане Степановиче его страсть к наливкам и сладким водкам; она не знала, что человеческое тело только до известной степени противодействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, отекший от водяной, полунемой от паралича, отдал богу душу – около того времени, когда Лев Степанович отделывал свой

дом на Яузе.

Получив весть о смерти брата, Лев Степанович в первые минуты горести попробовал опровергнуть брак покойника, потом законность его сына, но вскоре увидел, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни мужа и что седьмую часть ей выделить во всяком случае придется, и сыну имение предоставить, да еще заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, звал ее в Москву для окончания дел и для того, чтобы показать ему наследника его брата, а может и его собственного, печься о котором он считал священной обязанностью, ибо богом и законом назначен ему в опекуны. Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. Лев Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом и взял на себя все хлопоты по опеке и по управлению имением.

Акулину Андреевну провести было нелегко; но ее устранил совершенно неожиданный случай. Своей седьмой частью она прельстила одного поручика из ординарцев при московском главнокомандующем и сама прельстилась его ростом, его дебелой и свирепой красотой, совершенно про-

тивуположной аркадскому покойнику. Акулина Андреевна не могла удержаться, чтобы не выйти за него замуж. Роли переменились. Поручик с четвертого дня начал ее бить, и уж Акулина Андреевна, на этот раз, стала пить подслащенные наливки. Лев Степанович сильно покровительствовал поручику и выхлопотал ему прибыльное место по комиссариатской части, где-то на Черном море. Лев Степанович требовал, чтобы племянник его остался в Москве для получения приличного его званию воспитания. Мать не хотела оставить его; но поручик прикрикнул и уговорил ее, основываясь на том, что место получил по ходатайству Столыгина и что его дружбу надо беречь на черный день.

IV. Троюродные братья

Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно; простое, деревенское воспитание того времени; оно ограничивалось с физической стороны – развитием непобедимого пищеварения, с нравственной – укоренением верного взгляда на отношение столбового помещика к дворовым и крестьянам. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, и по тому самому имело несомненный успех. Десятилетний мальчик был окружен толпой оборванных, грязных и босых мальчишек, которых он теснил, бил и на которых жаловался матери, бравшей всегда его сторону.

Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что не совсем покрывали кожу на черепе, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянея. Он иногда обижал Мишу, не дозволял ему себя тотчас поймать в горелках, обгонял его взапуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это оскорбляло, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной к такому нарушению приличий; она обыкновенно подзывала к себе поповича и поучала его следующим образом: «Ты, толоконной лоб, ты помни, дурак, и чувствуй, с кем я тебе позволяю играть; ты ведь воображаешь, что Михайло-то Степанович дьячков сын».

Матушка попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампады Тихвинской божией матери, – и довольно удачно представляет, будто беспощадно дерет его за волосы, приговаривая: «Ах ты, грубиян эдакой поганый, вот истинно дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами знать, какой ум в наших детях, в сраме и запустении живут; а ты благодари, дурак, барыню, что изволит обучать», – и она наклоняла его масленую голову и сама кланялась. Миша после подтрунивал над приятелем, но попович с досадой, улыбаясь, говорил: «Ведь все врет, мать-то, так для барыни в угоду горячку порет, пример делает».

Лев Степанович недолго продержал у себя племянника; цель его была достигнута, он его разлучил с матерью и мог распоряжаться, как хотел, имением. Он думал отдать Мишу в пансион; но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе воспитывать с своим сыном, который, говорила она. был один и скучал. Льву Степановичу не очень хотелось, но он побаивался княгини и согласился. Побаивался он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге; что она могла ему сделать болтовней и связями, не знаю, да и он не знал, а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом и занималась деланием визитов. При сыне находился француз-гувернер. Рекомендованный самим

Вольтером Шувалову, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковой нашей княгине, он безусловно управлял воспитанием. Гувернер был не глупый человек, как все французы, и не умный человек – как все французы; он имел все забавные недостатки своей страны, лгал, острил, был дерзок и не зол, высокомерен и добрый малый. Он смотрел с улыбкой превосходства на все русское, отроду не слыхал, что есть немецкая литература и английские поэты, зато знал на память Корнеля и Расина, все литературные анекдоты от Буало до энциклопедистов, он знал даже древние языки и любил в речи поразить цитатой из «Георгик» или из «Фарсалы».

Само собою разумеется, что наш гувернер был поклонник Вовенарга и Гельвеция, упивался Жан-Жаком, мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамильей Дрейяк смягчающее «де», на которое он не имел права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения. «Без тяготения, – говорил он, морща лоб от усилий, – был бы хаос и атомы разлетелись бы, тяготение поддерживает великий порядок, в котором раскрывается великий художник». При развитии этих глубоких и ясных истин он никогда не забывал прибавить, что поэтому Платон и называл бога геометром, а Ньютон снимал шляпу, когда произносил имя божье. Сверх, своей религии тяготения, которою он был совершенно доволен,

он упорно не хотел суда на том свете и язвительно смеялся над людьми, верившими в ад, – хотя против бессмертия души он не только ничего не имел, но говорил, что оно крайне нужно для жизни.

Учение с де Дрейяком шло весело и легко. Он мог всегда говорить без различия времени, предмета, возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались сначала слушать по-французски, а потом говорить. Воспитание почти в этом и состояло.

Миша сначала погрустил в доме княгини и, утирая слезы, поминал о Липовке. Он очень хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит, он был «братец», он был «cher cousin», в то время как князь был самим собою. Различие это Миша равно видел и в обращении княгини, и в обращении гостей, и еще более в обращении дядьки. Старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что он может послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчик, глубоко оскорбленный всем этим, дулся, сидел в углу, смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие вовсе не замечали.

Видя безуспешность своих протестаций, Миша вдруг сделался шелковый, ласков, весел, приветлив. Через несколько месяцев он был любимец Дрейяка. Сама княгиня не могла надивиться, какой он не глупый мальчик, «точно можно сказать c'est un miracle ce qu'en a fait мой Дрейяк, он совсем sauvage был, ну и теперь эдакой дурнушка, а, право, преми-

лой мальчик». В слове дурнушка выражалось сознание матери, что ее сын не так умен, не так даровит, и она торопилась утешиться его красотой. Молодой князь не любил учиться, он был рассеян и зевал за уроками; добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натуре, он был вял, и ум его дремал еще беспробудно, да и не знаю, просыпался ли впоследствии когда-нибудь. Лень и невнимание князя поощрили Мишу, и Миша просился на занятия, со всем усердием, которое дает зависть и затаенное желание превосходства. Дрейяк чуть не плакал, видя, как ловко Миша цитирует места из «Кандида», из «Девы Орлеанской», из «Жака Фаталиста»…

Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских. При всей своей лени даже князь знал довольно хорошо греческую мифологию и французскую историю, больше в то время не требовалось; тогда у нас еще не выдумывали своей литературы, о русских журналах и не снилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто. Знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила писать пьесу, знали еще благодаря Вольтеру некоторые неверные подробности о царствовании Петра I. У княгини было-таки небольшое собрание русских книг – сочинения Сумарокова, «Россиада» Хераскова, «Камень веры» Стефана Яворского и томов сорок «Записок Вольного экономического общества», но молодые

люди никогда не развертывали этих книг.

Княгиня свезла детей в гвардию и сама поселилась в Петербурге. Служба тогда была легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле, это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовой церкви княгининого брата и скучного обеда у самой княгини, было в полном распоряжении молодых людей. Князь радовался мундиру, радовался воле, пылко бросался на все наслаждения, на все удовольствия; отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он часто обжигался, был обманут, ссорился и при всем этом был славный товарищ и лихой малый. Столыгин был скромнее; он глядел на своего товарища с каким-то снисхождением, порицая внутри все, что делалось. Из всех историй Столыгин выходил чистым, так мастерски он умел себя держать. Князь любил его, верил в его дружбу, признавал его превосходство и с детским простосердечием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом.

Князь был хорош собою, румяный, нежный, отрочески мужественного вида, с легким пухом на губах, с чистым голубым взглядом, он нравился особенно сангвиническим девицам и молодым вдовам. Столыгин, бравший не столько красотою, сколько дерзкой речью, любезностью и злословием, не мог простить своему другу его высокий рост, его кра-

сивые черты и старался всякий раз затмить его остротами и колкостями.

Они занялись исключительно волокитством; от боярских палат до швеи иностранного происхождения и до отечественных охтенок – ничего не ускользало от наших молодых людей. К тому же князь успел раза два проиграться в пух, надавать векселей за страстную любовь, побить каких-то соперников, упасть из саней мертво пьяный, словом, сделать все, что в те счастливые времена называлось службой в гвардии.

Когда Столыгин заметил, что, несмотря на все его красноречие, князь решительно берет верх у женщин, он стал его подбивать ехать в Париж. Действительно, только этого рукоположения и недоставало нашим друзьям.

Сначала, как водится, княгиня не хотела пустить; потом сама им выпросила отпуск. Надзор за детьми снова был поручен Дрейяку, успевшему в антракте образовать еще двух русских помещиков греческою мифологией и французскою историей. Тогда еще существовали пространство и даль, не так, как теперь, месяца два тащились они до Парижа.

…Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения – все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, что у камней бился пульс, в воздухе была

примешана электрическая струя, наводившая душу на злобу и беспокойство, на охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений, на все, чем были полны писатели XVIII века. И все это выговорилось, заявилось, высказалось путникам прежде, нежели запыленный и тяжелый дормез остановился у отеля в улице Сент-Оноре и двое крепостных слуг стали отстегивать пряжки у важей…

И вот Михайло Степанович, напудренный и раздушенный, в шитом кафтане, с крошечною шпажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, острит в Версале, как острил в Петербурге: он толкует о тьерс-эта, превозносит Неккера и пугает смелостью опасных мнений двух старых маркиз, которые от страха хотят ехать в Берри в свои имения. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись.

– Знаете, что меня всего более удивляет в этом marquis hyperboreen – сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом, – не столько ум – умом нас, слава богу, не легко удивить, – нет, меня поражает его способность все понимать и ни в чем не брать участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как сказания о Сезострисе.

– Это какой-то посторонний всему – «Скиф в Афинах», – заметил какой-то ученый.

– Совсем нет, – возразил аббат, – у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я мог бы ненавидеть такого человека, если б

я не жалел его. Это болезненное произведение образования, привитого к корню, не нуждавшемуся в нем. Будьте уверены, что у него нет будущности.

– Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат, он даже лицом похож на Кауница.

– В самом деле похож, – подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свой годы, – и гиперборейский маркиз был забыт.

Пока Столыгин занимал собою гостиные, князь успел отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подраться с ним на шпагах, обезоружить его, простить и в тот же вечер ему спустить пятьсот червонцев. Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю.

Путешествие князя и Столыгина окончилось прежде, нежели они предполагали, виною этого был Дрейяк. Де Дрейяк, которого прислуга в трактире звала «Мсье ле шевалье», одобрительно и не без задних мыслей улыбался «успехам человечества и торжеству разума над предрассудками»; но он, как все благоразумные люди, больше успеха любил безопасность и больше торжества ума и разума – покой. А тут вышел вот какой случай. Погода раз была чудесная, Дрейяк пошел гулять утром; но только что он вышел на бульвар, как услышал за собой какой-то нестройный гул; он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, блеск пик, ружей, наконец вырезалась нестройная пестрая масса людей.

Прежде нежели Дрейяк что-нибудь понял, высокий плечистый мужчина без сюртука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом: «Ты с нами?» Дрейяк, бледный и уж несколько нездоровый, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец был нетерпелив, он взял нашего шевалье за шиворот и, сообщив его телу движение, весьма неприятное, повторил вопрос. Дрейяк, вместо ответа, уронил трость; учтивая дама, почтенного размера, с седыми космами, торчавшими из-под чепчика, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила: «Да это аккапарист, аристократ, посмотрите, какой набалдашник, золотой и с резьбою, что вы толкуете с ним, на фонарь его!» – «На фонарь», – сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома. Человека три выступили было с очень враждебным намерением, дело остановилось за веревкой, мальчик лет двенадцати обещался тотчас принести. Дрейяк воспользовался этим временем, чтобы сказать: «Помилуйте, что вы? с молодых лет я питался писаниями наших великих писателей и примерами римской и спартанской республики». – «Хорошо, очень хорошо», – закричали несколько человек, слышавших только слово «республика». «Я с вами, – продолжал ободренный оратор, – я принадлежу

народу, я из народа, как же мне не быть с вами?» – и остановившаяся кучка двинулась вперед грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними. Долго спустя раздавался еще на бульваре рев, похожий на морские волны, гонимые ветром в скалистый берег, рев. иногда утихавший и вдруг раздававшийся торжественно и страшно.

Дрейяку удалось завернуть под самым суетным предлогом в переулок, вылучив счастливую минуту, когда все внимание его соседей обратилось на аббата, которого толкали вперед три торговки; он дал оттуда стречка и пришел домой полумертвый, с потухшими глазами и с изорванным кафтаном. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны и в первый раз признался, что дорого бы дал, если бы был на варварских, но покойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал приходить в себя и собирался было прочесть в Тите Ливии о народном возмущении против Тарквиния Старшего, как вдруг раздался ружейный залп, прогремела пушка, еще раз и еще – а там выстрелы вразбивку; временами слышался барабан и дальний гул; и гул, и барабан, и выстрелы, казалось, приближались. По улице бежали блузники, работники с криком «А ла Бистиль, а ла Бастиль»! Перед окнами остановили офицера из Royal Allemand, стащили с лошади и повели. «О боже мой, боже мой, пощади нас и помилуй», – бормотал Дрейяк, изменяя закону тяготения и забывая, что Платон бога называл «великим геометром». Тут он

вспомнил, что прислуга его называет шевалье, и это проклятое «де» перед фамилией. «Все люди, – говорил он гарсону, который вошел, чтобы вынести чайник, – равны, все люди – братья и могут отличаться только гражданскими добродетелями, любовью к народу и к неотъемлемым правам человека».

Михаил Степанович ходил смотреть взятие Бастилии; Дрейяк был уверен, не видя его вечером, что он убит, и уже начинал утешаться тем, что нашел славную турнюру, как известить об этом княгиню, когда явился Столыгин, помирая со смеху при мысли, как его версальские приятели обрадуются новости о взятии Бастилии.

Дрейяк объявил, что дольше в Париже не останется и, несмотря на все споры и просьбы, опираясь на полномочие княгини, отстоял свое мнение с тем мужеством, которое может дать один сильный страх; делать было нечего, дети воротились. И маленькая француженка очутилась как-то в то же время на Литейной и сильно хлопотала об отделке своей квартиры и топала ножкой с досады, что лакей Кузьма ничего не понимает, что она говорит.

Раз вечером князь застал Михаила Степановича в слишком огненном разговоре с mademoiselle Nina. Князь был не в духе, рассердился и обошелся колко, сухо с Столыгиным. Столыгин и уступил бы, да на беду он взглянул на плутовские глазки маленькой француженки, – глазки помирали со смеху и, щурясь, как будто говорили: «Какая ж ты дрянь».

Взгляд этот подзадорил его. Ссора разгорелась. Князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и разругал его так, что на этот раз маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понял.

Они дрались. Дуэль кончилась почти ничем. Столыгин ранил князя в щеку. Это подражание цезаревым солдатам в Фарсальской битве вряд ли было случайно, зато оно и не прошло ему даром; раны на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ее дом.

Таким образом лет двадцати восьми от роду Столыгин очутился впервые на собственных ногах.

Привычный к роскоши княгинина дома, он так испугался своей бедности, хотя он очень прилично мог жить своими доходами, что сделался отвратительнейшим скрягой. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы разбогатеть. Одна надежда у него и была на смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем был оскорбительно тверд.

Он было принялся хозяйничать, дядя вручил ему бразды правления после его выезда из дома княгини, но как-то неловко, и знал-то он плохо сельское дело и время терял на мелочи. Но человек этот, как говорят, родился в рубашке. К нему повадился ходить какой-то отставной морской офицер, основываясь на том, что он служил вместе с его вотчимом в Севастополе и знал его родительницу. Моряк имел процесс и знал, что через связи Столыгина может его выиграть.

Столыгин обещал ему, чтоб отделаться от него, поговорить с тем и с другим и, разумеется, не говорил ни с кем. Но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Столыгину. Ему отказывали – он возвращался, его не пускали – он прогуливался около дома и ловил Столыгина на улице. Наконец Михайло Степанович, выведенный из терпения, исполнил его просьбу. Офицер был безмерно счастлив.

«Чем вы намерены заниматься?» – спросил его Столыгин, перебивая длинное и скучное изъявление флотской благодарности. «Искать частной службы, по части управления имением», – отвечал моряк. Михаил Степанович посмотрел на него и почти покраснел от мысли, как он до сих пор не подумал употребить его на дело. Действительно, человек этот был для него клад.

Моряк как нарочно отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, поломан и помят; но, несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, эта хирургическая редкость сохранила неутомимую деятельность, беспрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен и честен, он никого бы не обманул, тем более человека, которому был обязан важной услугой; но многим именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякого плутовства.

Михаил Степанович предложил ему ехать осмотреть его

имение. Моряк отправился.

V. Наследник

Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проектами и планами, когда вместо его пришло красноречивое письмо Тита. Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая радость, которой он не мог и предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться новому барину, известили его о смерти Марфы Петровны.

– А что, есть завещание? – спросил с некоторым беспокойством Михаил Степанович.

– Покойная тетушка письмо только изволила вашей милости оставить, – отвечал Тит, вынимая бумажник.

– Ты бы с этого начал, болван, – заметил Столыгин поспешно, вырывая из рук Тита письмо.

Лицо его просветлело при чтении, он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать «никаких глупых распоряжений».

– Кто при доме в деревне остался? За коим чертом вы оба приехали? – спросил Михаил Степанович.

– Агафья Петровна, ключница, батюшка, и покойной тетушки дядюшка майор с супругой.

– Они-то первые и растащут все, да где же бумаги?

– В кабинете покойного барина, дверь вотчинной печатью запечатана и десятской приставлен в калидоре.

– Я завтра собираюсь в Липовку, будьте готовы.

– Милости просим, батюшка, – отвечал, низко кланяясь, староста. – Лошади дожидаются, моих тройка на вашем дворе да крестьянских еще две придут под вечер в Роговскую.

– Хорошо, ступай. А ты, эй! Тит! сейчас с Ильей Антипычем (так назывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестью о кончине Льва Степановича) в доме все по описи прими, слышишь.

– Слушаю, батюшка, – отвечал Тит густым голосом.

На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную. На границе Липовской земли ждали Михаила Степановича дворовые люди и депутация от крестьян с хлебом и солью. Староста и Тит Трофимов, ехавшие впереди в телеге, остановили дормез и доложили Михаилу Степановичу, что этот большой камень и эта большая яма означают границу его владений. Он вышел из кареты; подданные повалились в ноги, старик, седой как лунь, с длинной бородой и с лицом буонарротиевских статуй, поднес хлеб и соль. Михайло Степанович указал Титу, чтобы он принял хлеб, и дребезжащим голосом сказал крестьянам, что благодарит их за хлеб, за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле.

– А что, на оброчных есть недоимка?

– Есть невеликое, батюшка, дело, – отвечал староста.

– А ты чего смотрел, у меня чтобы слово «недоимка» не было известно. Слышишь! Какой оброк платят, неслыханное дело, дядюшка так попустил от старости. Я, чай, вам, право-

славные, перед соседями совестно так мало платить.

– Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла, – заметил моряк.

– Еще бы, подмосковные мужики. Видите, что люди говорят.

– Как вашей милости взгодно будет, как изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дело сполнять, – сказал буонарротиевский старик, и мужики снова поклонились в землю, благодаря за доброе намерение лишить их стыда так мало платить.

– Об этом я поговорю завтра, собери утром на барский двор стариков.

– Это что за рожи? – продолжал помещик, обращая приветствие к дворовым. – Откуда это покойник набрал их, один Тит на человека похож. Кто это, в засаленном нанковом сюртуке, направо-то?

– Земской Василий Никитин, – отвечал староста, – то есть он, батюшка, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взямши во двор, изволили Васильем назвать.

– Сюда от него вином пахнет. Дорогу к кабаку вы не будете у меня знать.

После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, который шел возле без фуражки; староста и Тит плелись несколько отступя и не глядя друг на друга, а за ними дворовые, крестьяне, дормез и телега. Никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда

они шли по селу, дряхлые старики, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за вороты, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна; одна собака какая-то, смелая и даже рассерженная процессией, выбежала с лаем на дорогу, но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина. Так достигли господского дома, тут дожидались священник с женою и с сотами от пчелок своих, тощий, плешивый диакон и причетники с волосами, которых расчесать не было возможности. Слепой майор и молдаванка, повязанная белым платком и закутанная в черную шаль покойной благодетельницы, встретили в сенях нового обладателя Липовки.

Михайло Степанович учтиво обошелся со всеми, но всем как-то стало жаль Льва Степановича больше, нежели прежде. Он попросил священника отслужить молебен с водоосвящением и потом панихиду о покойнике; осведомился, говеют ли крестьяне, и отправился в запечатанный кабинет, сопровождаемый моряком. Он нашел все в порядке – и деньги и ломбардные билеты. Говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он, справедливо заметив моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не написал отпускных, и что в таком случае отпустить их было бы противно желанию покойника, – сжег эту записку на свече.

На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить их, он им жалует две тысячи рублей. Причем он вручил билет (по которому проценты были взяты). Потом он им объявил, что сколько ни желал бы, но не может по разным соображениям оставить за ними комнаты и советует им переехать в Москву. «Кириле Васильевичу часто может быть, – прибавил он, – нужда в докторе, ему непременно надобно жить в городе». Молдаванка хотела было просить Михаила Степановича позволить им остаться, хоть в людской избе, но, встретив холодные глаза его с рыжеватыми ресницами, она не смела вымолвить ни слова и пошла укладывать свои пожитки.

Осмотревши прочие имения и повелев беспрекословно слушать во всем моряка, он уехал в Петербург, а через несколько месяцев отправился снова за границу. Где он был, что делал в продолжение целых четырех лет? Трудно сказать. И что собственно его привязывало к заграничной жизни?..

Когда он воротился в Москву, моряк подал ему отчеты; другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович нашел во всем приращение, без всякого труда, без всяких пожертвований почти; он чрезвычайно мало давал моряку. Даже теперь, воротившись из путешествия, он отделался золотыми нортоновскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказывал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Элфингстону.

Один-одинехонек жил Михайло Степанович в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании, он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Столыгин оставлял его дня на два под предлогом разных дел, а в сущности из потребности живого человека. Дворню свою он страшно теснил. У него в воображении все носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного, не тратя денег; задача была невозможная, на всяком шагу он видел, что ему не удается, бесился и вымещал это на слугах. При всей своей скупости он серьезно имением не занимался, иногда только, без всякой нужды он врывался в управление моряка, распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами – там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место… Показавши таким образом свою власть, он снова предоставлял моряку управление крестьянами.

Сверх моряка являлся к Столыгину раза два в неделю высокий подслепый меняла в бесконечном сюртуке; моргая глазами и пошевеливая плечом, он называл все камни и все вещи наизнанку, что вовсе ему не мешало быть тонким знатоком. Через него Михайло Степанович помещал свои деньги за баснословные проценты. Меняла не удовлетворяясь куртажем за безносых адонисов, за новые антики и старые

картины, – занимался в свободное время приятною должностью сводчика. Михайло Степановичу не хотелось выступать ростовщиком, да не хотелось тоже и капитал оставлять на одни несчастные пять процентов, которые тогда платил ломбард, так он и прибегал к услугам менялы. Несмотря на все предосторожности его, меняла все-таки надул Столыгина. Завелся процесс. Ни один сенатский секретарь, ни один герой, поседевший в чернилах, вскормленный на справках и сандараке, не догадался бы никогда, чем окончится этот процесс.

Хождение по делу было поручено Столыгиным знаменитому тогда в Москве стряпчему, отставному статскому советнику Валерьяну Андреевичу Трегубскому. У стряпчего была дочь, скромная, запуганная отцом, дикая от одиночества и очень недурная собою. Михайло Степановичу она приглянулась, он любил эти скромные волокитства, не вовлекавшие в большие траты. Молодая девушка, совершенно неопытная и подбиваемая беспрерывно кухаркой, шла, сама не зная как, прямо на свою гибель. Кухарка статского советника, помогавшая Столыгину за беленькую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, но все не приносил, вдруг испугалась могущих быть из этой связи последствий и раз вечером, немного напившись, все рассказала отцу, разумеется, кроме собственного участия. Старик разом убедился в справедливости доноса и в том, что предупредить поздно, но поправить самое время.

Сказать по правде, новость эта больше обрадовала его, нежели опечалила; тем не менее он с свирепостью напал па дочь, разбранил ее, оттаскал по обычаю праотцев за косу, запер в чулан, словом, сделал все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив эту тяжелую, хотя и святую обязанность, он снова сделался чем был – стряпчим и принялся делать повальный обыск в комнате дочери. Нашел он и записочки и вещицы разные, все пересмотрел внимательно, все перечитал раза два, три. Прочтенное явным образом доставляло ему удовольствие. Он взял письмо к себе, принялся сам писать, писал долго, подгибая третий палец под перо и наклоняя правый глаз к самой бумаге. И перемарывал он, и перечитывал, и прибавлял, и сокращал, наконец удовлетворенный редакцией, он раза два до кашля понюхал табаку и принялся переписывать набело. Переписавши, он взял свечу и отправился к дочери.

Бедная девушка, оскорбленная, униженная, пристыженная, заплаканная, сидела в углу. Старик на все на это считал как нельзя лучше. «Убила, – говорил он ей, – убила старика отца, седины покрыла позором». Девушка стояла ни живая ни мертвая и шептала бледными губами: «Простите, простите». – «Поди сюда, – закричал отец, – возьми перо, пиши, тут – ну же». – «Батюшка!» – «Да ты еще не слушаться, опозорила. отца, да и из повиновения вышла, тебе говорят – пиши», и он диктовал: «Дочь статского советника Марья Валерьяновна Трегубская». Девушка писала в лихорадке, в безу-

мии; когда отец взял у нее перо, руки ее опустились, она упала на колени перед пустым стулом и прижала к нему голову. Почтенный старец вышел, не говоря ни слова, он думал, что ему больше придется ломаться, он был даже несколько сконфужен легкой победой.

На другой день Столыгин получил от статского советника длинное письмо; он сообщал ему, что весть о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, поверг его дочь в гибель несчастия и лишил его последней опоры и последнего утешения, поразила его в самое сердце; что он находит, наконец, положение жертвы его соблазна сомнительным. А потому полагает, что он, наверно, свой поступок покроет божиим благословением через брак, которым возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превыше всех благ земных. Буде же (чего боже сохрани) Михайле Степановичу это неугодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего закона и у высоких особ, богом и монархом поставленных невинным в защиту и сильным в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельства домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы, собственною Михаила Степановича рукою писанные. В заключение оскорбленный отец счел нужным присовокупить, что преступная дочь его есть с тем вместе его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части, в третьем квартале за 99, так и капитала, имеющего ей достаться, когда

господу богу угодно будет прекратить грешные дни его.

Михаиле Степанович задохнулся от гнева и от страха; он очень хорошо знал, с кем имеет дело, ему представились траты, мировые сделки, грех пополам. О браке он и не думал, он считал его невозможным. В своем ответе он просил старика не верить клеветам, уверял, что он их рассеет, говорил, что это козни его врагов, завидующих его спокойной и безмятежной жизни, и, главное, уговаривал его не торопиться в деле, от которого зависит честь его дочери.

Валериан Андреевич недаром лет сорок был стряпчим; он видел, что Столыгин выигрывает время, что следственно ему его терять не следует. Между разными делами, вверенными его хождению, был у него на руках длинный, запутанный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Трегубский отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении дела, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал пресмешной вид и начал капать слезами. Граф удивился, встревожился, стал спрашивать, старик просил прощения, извинялся своим нежным сердцем и безмерным горем, наконец рассказал всю историю, показал письма Столыгина и просьбы дочери. Граф, забывая вовсе ненужные в то время воспоминания собственных проделок, принял сердечное участие в горе несчастного старца и сказал ему, отпуская его: «Будь покоен, негодяю этому даром не пройдет. Оставь письмо дочери у меня. Да кстати, апелляционную записку по моему делу окончи поскорее». Старик

успокоился.

Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михайла Степановича по «экстренному и конфиденциальному делу». Осведомившись о состоянии его здоровья и об урожае озимых хлебов, предводитель спросил его – как он намерен окончить неосторожный пассаж свой с девицей Трегубской, присовокупляя, что ему велено посоветовать Михайле Степановичу кончить это дело; как следует дворянину и христианину. Столыгин пустился в ряд объяснений. Предводитель выслушал их с чрезвычайным вниманием и заметил, что все это совершенно справедливо, но что он тем не менее уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие высоких особ и поступит как христианин и дворянин; что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть письмо, полученное им по поводу этой неприятной истории.

Михайло Степанович прочел письмо и положил его на стол молча и с изменившимся лицом.

– Не угодно ли вам будет теперь, – спросил его предводитель, – подписать вот эту бумажку?

Столыгин взял перо.

– Позвольте, позвольте, – с жаром заметил предводитель, вежливо вырывая из его руки перо, – это перо не хорошо, вот это гораздо лучше.

Столыгин взял лучшее перо и несколько дрожащей рукой подписал. Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и вполне убеждала в необходимости подпи-

сать вторую. Предводитель, прощаясь, сказал Столыгину, что он искренно и сердечно рад, что дело кончилось келейно и что он так прекрасно, как истинный патриот и настоящий христианин, решился поправить поступок, или, лучше, пассаж.

Через неделю Михайло Степанович был женат. Несмотря на то, что Москва – классическая страна бракосочетаний, но я уверен, что со времени знаменитого кутежа, по поводу которого в летописях в первый раз упоминается имя Москвы, и до наших дней не было человека, менее расположенного и менее годного к семейной жизни, как Столыгин. Благодетельное начальство исправило эти недостатки отеческим вмешательством своим.

Трудно себе представить хуже, нелепее и неловче положение бедной новобрачной. Перейдя, по распоряжению высшего правительства, из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в чужой дом, в котором не было в ней нужды, в котором ничего не переменилось от ее появления, – положение ее собственно ухудшилось. Столыгин ее держал не как жену, а как крепостную фаворитку. У ней не было ни одной знакомой, Столыгин запретил ей принимать каких-то родственниц, раза два являвшихся из-за Москвы-реки позавидовать ее счастию; она сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую Столыгин хотел ввести по части супружеской тайной полиции. Она никуда не выезжала, иногда только Михайла Степанович предлагал жене проехаться

в карете, одной, и тут кучеру и лакею давалась инструкция, какими улицами ехать.

Несколько лет оставалась она потерянной, оскорбляемой и безгласной. Существо доброе, готовое любить, готовое на всякую преданность, она отдавалась молча своей судьбе и, вспоминая страдания, выносимые от отца, она думала, что так и надобно, что такое положение женщины на свете.

Первый утешитель, явившийся ей, был малютка Анатоль, родившийся через год после ее свадьбы; впоследствии он же и развил, и воспитал, и освободил ее.

Рождение сына на несколько степеней поправило положение Марьи Валериановны. Столыгин был доволен сходством. Он до того расходился в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спросил Тита: «Ты видел маленького?» – и когда Тит отвечал, что не сподобился еще этого счастия, он велел кормилице показать Анатоля Михайловича Титу. Тит подошел к ножке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил: «Настоящий папенька, вылитой папенька, папенькин потрет».

Михайло Степанович, очень довольный, тут же отдал приказ, чтобы люди вставали, когда проходит кормилица с маленьким барином; а кормилице, напротив, разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинуясь инструкциям моряка. Кормилица была из Липовки. За две недели до родов Марьи Валериановны приказал Столыгин моряку выслать для выбора двух-трех здо-

ровых, красивых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней; от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились, и так основательно, что потом, сколько их старуха птичница не окуривала калганом и сабуром, все-таки водяная сделалась; у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, вероятно от дурного глаза, и, несмотря на чистый воздух и прочие удобства зимнего пути, в пошевнях он умер, не доезжая Реполовки, где обыкновенно липовские останавливались; так как у матери от этого молоко поднялось в голову, то она и оказалась не способною кормить грудью. Остались три для выбора, согласно желанию Михаила Степановича. Из них он сам с повивальной бабкой избрали женщину, действительно замечательную. Будучи третий год замужем, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, со сливками даже можно сказать. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину, можно было слепо положиться. Кормилица на барском дворе в два месяца сделалась вдвое толще и румянее. Так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее и всякий раз бормотала, выходя из ворот: «Вишь, разъелась на барских чаях какая. Дай срок, воротишься домой, спустим жир… Погоди». Говорят, что простодушная старушка доб-

росовестно сдержала обещание.

Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Стук во время его сна, сквозной ветер, отворенная дверь – все это выводило из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мудрено себе представить. Кормилице дозволялось иногда спать, Настасья должна была день и ночь быть налицо. Она раздевалась раз только в неделю – в бане. Настасье было приказано, чтобы летом в детской не было мух; она отвечала за крик ребенка, за то, что он падал, начиная ходить, за насморк, который делался от прорезывания зубов… И подите, исследуйте тайны сердца человеческого – Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся жизнь ее, за которого она вынесла сколько нравственных страданий, столько и физической боли. Марья Валериановна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишения всякого покоя, за вечный страх, вечную брань и вечное преследование.

Пока ребенок был зверком, баловству со стороны Михайла Степановича не было конца; но когда у Анатоля начала развиваться воля, любовь отца стала превращаться в гонение. Болезненный эгоизм Столыгина, раздражительная капризность и избалованность его не могли выносить присутствия чего бы то ни было свободного; он даже собачонку, не

знаю как попавшуюся ему, до того испортил, что она ходила при нем повеся хвост и спустя голову, как чумная.

Марья Валериановна, до тех пор кроткая и самоотверженная, явилась женщиной с характером и с волей непреклонной. Она не только решилась защитить ребенка от очевидной порчи, но, уважая в себе его мать, она сама стала на другую ногу. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович и решился сломить ее во что бы то ни стало.

Пяти-шестилетний Анатоль был свидетелем грубых, отвратительных сцен; нервный и нежный мальчик судорожно хватался за платье матери и не плакал, а после ночью стонал во сне и, проснувшись, дрожа всем телом, спрашивал няню: «Папаша еще тут, ушел папаша?» Марья Валериановна чувствовала необходимость положить предел этому и не знала как. Обстоятельства, как всегда бывает, помогли ей.

В гостиной стояла горка, на которой были расставлены всякие ненужности, взятые у менялы, для поощрения его. Анатоль, тысячу раз игравший этой дрянью, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу.

– Не тронь! – закричал отец.

Анатоль посмотрел на него с испугом, оставил куклу и через две минуты опять ее взял. Михайло Степанович подошел к нему, схватил за руку и дернул его с такою силой, что он грянулся об пол и разбил себе до крови лоб. Мать и няня бросились к нему.

– Оставьте его, это вздор, капризы, – закричал отец; няня

приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла Анатоля и понесла его, говоря:

– Пойдем, дружок мой, в детскую, папаша болен.

– Да ты слышала или нет, что я сказал? – спросил Михаиле Степанович, – оставь его.

– Ни под каким видом, – отвечала оскорбленная мать, – как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия?

– Это что значит? – спросил Столыгин, дрожа всем телом от бешенства.

– То, – отвечала Марья Валериановна, – что есть всему мера, и если вы сошли с ума, то мой долг положить предел вашему вредному влиянию на ребенка.

Михайло Степанович не дал ей кончить, он ударил ее. Анатоль взвизгнул и помертвел.

Марья Валериановна, пришедшая в спальню, бросилась на колени перед образом и долго молилась, обливаясь слезами, потом она поднесла Анатоля к иконе и велела ему приложиться, одела его, накинула на себя шаль и, выслав Настю и горничную зачем-то из девичьей, вышла с Анатолем за вороты, не замеченная никем, кроме Ефима. На дворе смерклось; Марья Валериановна почти никогда не выходила вечером на улицу, ей было страшно и жутко; по счастию, извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги, она кой-как уселась на калибере, взяла на колени Анатоля и отпра-

вилась к отцу в дом. Сходя с дрожек, она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в вороты; но извозчик остановил ее, он думал, что она ему дала пятак, и сказал: «Нет, барыня, постой, как можно», и, разглядевши, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и нисколько не потерявшись: «Как можно целковый взять с двоих, синенькую следует получить, матушка». Она бросила ему какую-то монету и взошла в ту несчастную калитку, из-за которой лет шесть тому назад, бог знает под влиянием какой чары, вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтобы мучить ее целую жизнь.

Когда Михайло Степанович пришел в себя, он понял, что переступил несколько границу. «Ну, да что же делать, – думал он, – у меня нрав такой, пора в самом деле привыкнуть, сердит меня, как нарочно, et ensuite elle devient impertinente, я не могу своего сына воспитывать по моим идеям». Утешивши себя такими рассуждениями, он отправился в гостиную, однако на лице его было видно, что как ни убедительны они были, но совесть не совсем была покойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, освещенная двумя сальными свечами. Он посидел на диване – пусто, не хорошо.

– Сенька! – закричал он, и мальчик лет двенадцати, одетый казачком, показался в дверях. – Скажи Наське, чтобы привела Анатоля Михайловича.

Казачок вышел, но долго не возвращался, слышны были голоса, шепот, шаги. Тит, бледный как смерть, стоял в зале,

Настасья с заплаканными глазами ему объясняла что-то, Тит качал головой и приговаривал:

– Господи боже мой, прости наши прегрешения.

Через несколько минут казачок взошел с докладом:

– Анатоля Михайловича дома нет, их барыня изволили взять с собою.

– Что… о… о… о?

Казачок повторил.

– Что ты врешь, пошли Наську и Тита.

Наська и Тит взошли.

– Куда барыня пошла? – спросил Столыгин.

– Не могу доложить, – отвечала старуха, дрожа всем телом, – меня изволили послать за водой, изволили надеть желтую шаль – я думала так, от холоду…

– Молчи и отвечай только на то, что я спрашиваю. Ну, а ты, старой разбойник, ты чего смотрел, Тит Трофимович, домоправитель? Кто пошел за барыней?

– Виноват, батюшка, Михайло Степанович, бог попутал на старости лет, я не видал.

– Виноват, батюшка, – передразнил его Столыгин, входивший более и более в ярость, – позови, старый дурак, Кузьку и Оську, да дурака Ефимку и кучеров. – Люди переглянулись с ужасом друг на друга, они очень хорошо знали, что значит приглашение кучеров…

На другой день утром Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валериановны, утирая слезы и умоляя

ее спасти их. Столыгин велел им или привести барыню с сыном, или готовиться в смирительный дом и потом на поселение. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая:

– Сгубит он нас, матушка, со света божьего сгонит.

– Марья Валериановна, – говорила Настасья, – спаси ты нас, заступница наша, или уж оставь меня здесь.

– Я домой не пойду, – прибавил старик, – я с Каменного моста брошусь в воду, один конец.

Марья Валериановна долго молчала, тяжело ей было, она еще раз взглянула на эти растерянные и отчаянные лица, встала и сказала грустным голосом:

– Так и быть, я спасу вас, я не могу допустить, чтобы он замучил вас за меня, я возвращусь теперь, может, на свою собственную гибель. Только молите же бога, чтобы не на гибель малютки.

– Мать ты наша родная! – говорил Тит. – Иверской божией матери отслужим молебен, всей дворней свечу десятифунтовую поставим.

Марья Валериановна явилась домой не как виноватая и беглая жена, а с полным сознанием своей правоты и своего призвания быть защитницей сына. Она покойно и твердо объявила Столыгину, что возвратилась только для того, чтобы спасти совершенно невинных людей от его бешенства, но что она решилась не жертвовать более сыном необузданности такого отца.

– Ох, – говорил Михаиле Степанович, притворившийся

больным, – ох, ma chere, зачем это ты употребляешь такие слова, мое ухо не привыкло к таким выражениям. У меня от забот, от болезни (он жаловался на аневризм, которого у него, впрочем, не было) бывают иногда черные минуты – надобно кротостью и добрым словом остановить, а не раздражать, я сам оплакиваю несчастный случай, – и он остановился, как бы подавленный сильными чувствами.

Но на Марью Валериановну его речи более не действовали. Весь prestige, окружавший его, исчез, она чувствовала себя настолько выше, настолько сильнее его, что у ней начала развиваться жалость к нему.

После этой истории Столыгин стал себя держать попристойнее. Марья Валериановна с сыном жила большую половину года в деревне; так как это значительно уменьшало расходы, то муж и не препятствовал. Смерть доброго старика Валериана Андреевича, случившаяся через несколько лет, снова запутала и окончательно расстроила жизнь, устроенную Марией Валериановной.

Он умер вскоре после московского пожара. Старик оставался все время войны в Москве, довольно счастливо скупая, долею у французов, долею у казаков, разные серебряные и золотые вещицы. По выходе неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении для поправления дома, сожженного богопротивным врагом во время нашествия галлов и с ними дванадесяти язык. Но, несмотря на то, что его просьба была совершенно несправедлива, он получил отказ. Это его

сильно огорчило, он помаячил еще годик, да и умер, оставивши Марье Валериановне дом, золотые и серебряные безделушки и толстую пачку ломбардных билетов.

Марья Валериановна в это время была в Петербурге, куда Столыгин переехал во время приближения неприятеля. Дом их на Яузе сгорел. Моряк отстроивал его медленно, потому что Столыгин скупился на деньги. Старик перед смертью звал дочь проститься. Она поехала, но не застала его. Моряк, имевший уже свои инструкции, распоряжался в доме ее отца, как на корабле, взятом в плен. Марья Валериановна молчала, но билеты ломбардные прибрала. Михайло Степанович не давал почти вовсе денег на воспитание сына, да и, сверх того, она хотела на всякий случай иметь капитал в своих руках.

Это обстоятельство снова ее поссорило с мужем. Переписка их приняла горький тон. Видя непреклонность жены, Столыгину пришла в голову мысль воспользоваться разлукой ее с сыном, чтобы поставить на своем.

Он писал моряку во всяком письме, чтобы все было готово для его приезда, что он на днях едет, и нарочно оттягивал свой отъезд. Возвратившись, наконец, в свой дом на Яузе, он прервал все сношения с Марией Валериановной, строго запретил людям принимать ее или ходить к ней в дом. «Я должен был принять такие меры, – говорил он, – для сына; я все бы ей простил, но она женщина до того эгрированная, что может пошатнуть те фундаменты морали, которые я с таким

трудом вывожу в сердце Анатоля».

Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения, и защищал Столыгина только следующим выразительным аргументом: «Все же ведь, как там угодно, а она супруга Михайла Степановича, а Михайло Степанович, как бы то ни было, все же ее супруг есть!..»

Вместо продолжения

В начале 1848 года я посылал эту часть повести в Петербург. Несмотря на повторенное объявление на обертке одного журнала, печатать ее не позволили. Отчего? Не понимаю; судите сами, повесть перед вами.

Тогда именно в России был сильнейший припадок цензурной болезни. Сверх обыкновенной гражданской цензуры была в то время учреждена другая, военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац- и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра. Она разбирала те же книги, но книги авторов и цензоров вместе.

Эта осадная цензура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканоном, запретила печатать что бы то ни было, писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов.

Запрещением своим лейб-цензурный аудиториат напомнил мне, что русским пора печатать вне России, что нам нечего сказать такого, что могла бы пропустить военно-судная цензура.

…Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план.

Мне хотелось в Анатоле представить человека полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противуречия между его стремлениями и его долгом. Он усиливается и успевает всякий раз покорять свою мятежную волю тому, что он считает обязанностию, и на эту борьбу тратит всю свою жизнь. Он совершает героические акты самоотвержения и преданность, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура. Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него.

Этот характер и среда, в которой он развивался, наша родная почва, или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь, заволакивающее непременно всякую личность, как она там себе ни бейся, – вот что мне хотелось представить в моей повести.

С самой первой юности Анатоль втянут в роковое столкновение с долгом. Перед ним в страшной нелепости является родительская власть. Он ненавидит Михайла Степановича, но он переламывает свое естественное отвращение и повинуется этому человеку, потому что он его отец.

Гонимый и притесняемый, Анатоль нашел выход, который находят все юноши с теплым и чистым сердцем: он

встретил девушку, которую полюбил искренно, откровенно. Для их счастия недоставало одного – воли.

Пришла и она.

Михайло Степанович, наконец, умер к неописанной радости дворовых людей. Анатоль, как Онегин:

Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил, Мужик судьбу благословил, а семидесятилетний моряк слег в постель и не вставал больше от этого «дебоша»; он, грустно качая головой, повторял: «А все библейское общество, все библейское общество, это из Великобритании идет».

Анатоль между тем начинал чувствовать усталь от своей любви, ему было тесно с Оленькой, ее вечный детский лепет утомлял его. Чувство, нашедшее свой предел, непрочно, бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду.

Оленька принадлежала к тем милым, но неглубоким и неразвивающимся натурам, которые, однажды вспыхнув сильным чувством, готовы, оседают и уже дальше не идут.

Когда Анатоль убедился, что он ее не любит, он ужаснулся своей сухости, своей неблагодарности; в несчастии он не находил другой отрады, иного утешения, как в ее любви, а теперь, свободный, богатый, он готов ее покинуть. Разумеется, после этого рассуждения он женился.

Близость лиц – факт психологический, легко любить ни за что и очень трудно любить за что-нибудь. Людские отношения, кроме деловых, основанные на чем-нибудь, вне вольно-

го сочувствия, поверхностны, разрушаются или разрушают. Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот третий упадет сам без меня в воду, – один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи.

Анатоль через несколько месяцев после брака был несчастен и губил своим несчастием бедную Оленьку.

Мой герой (вы, может, и не подозреваете этого) был конно-егерским офицером; вскоре после его свадьбы его назначили адъютантом корпусного начальника, который ему был сродни.

Корпусный командир был не кто иной, как наш старый знакомый князь, – князь, взявший с собой из Парижа маленькую Нину, в то время как парижский народ брал Бастилию. Он славно сделал свою карьеру и воротился из кампании в 1815 году, обвешанный крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и млечным путем русских звезд. Он был прострелен двумя пулями и весь в долгах. Он уже плохо видел, нетвердо ступал, неясно слышал; но все еще с некоторым fion зачесывал седые волосы a la Titus, подтягивал мундир, прыскался духами, красил усы, волочился за барышнями и бог знает для чего, кажется, из одного приличия, держал французскую актрису на содержании.

Это лицо меня чрезвычайно занимало; его мне хотелось особенно отделать. Князь должен был принадлежать к типу

людей, который утрачивается, который я еще очень хорошо знал и который необходимо сохранить, – к типу русского генерала 1812 года.

Русское общество с Петра I раза четыре изменяло нравы. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, оттого ли, что они ближе к нам, или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «памятной книжки» и действующих лиц «адрес-календаря».

При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях и возведениях на престол, они распоряжались русской короной, упавшей на финскую грязь, как своим добром, и очень хорошо знали, что ножки петербургского трона не так-то крепки и что не только Петропавловская крепость и Шлюссельбург, но Пелым и вообще Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная горсть богатых сановников, с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких плутов, храня наружный вид рабского подобострастия и преданности, сажала, кого хотела, на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи; в сущности народу было безразлично имя тех, которые держали кнут, спине одинаково было больно.

Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавой хитростию женщины и куртизаны обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы важным почетом, милостивой улыбкой, крестьянскими душами, а иногда своим собственным высочайшим телом. Из них образовалось в половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях было смешано русское патриархальное барство с версальским царедворством, неприступная «морга» западных аристократов и удаль казацких атаманов, хитрость дипломатов и зверство диких. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами; с русскими они иногда были ласковы, иногда милостивы, но всем до полковничьего чина говорили «ты». Ограниченные и надутые собой, вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили матушку императрицу и святую Русь. Екатерина II щадила их и снисходительно слушала их советы, не считая нужным исполнять их.

Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрою и нюхательным табаком, сенаторов и кавалеров ордена св. Владимира первой степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, – век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, – был разом подрезан воцарением Павла Петровича.

Он в первые двадцать четыре часа после смерти матери

сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского сераля, называвшегося Зимним дворцом, – казарму, кордегардию, острог, экзерциргауз и полицейский дом. Павел был человек одичалый в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый и влюбленный, вечно раздраженный и вечно раздражаемый, он, наверное, попал бы в сумасшедший дом, если бы не попал прежде на трон.

Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди. ни сенаторы, ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил Павел на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и метанию эспонтоном, он хотел ввести гатчинское управление в управление Российской империи, он хотел царствовать по темпам.

В такой простой, в такой наивной форме самовластье еще ни разу не являлось в России, как при Павле. Это был бред, хаос; его марсомания, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного и в то же время до трагического; этот коронованный Казимодо со слезами на глазах бил рукою такт, разгорался в лице, был счастлив, когда солдаты верно маршировали. Те же пароксизмы бывали потом у цесаревича Константина. Свирепости Павла не оправдываются даже государственными необходимостя-

ми, его деспотизм был бессмысленный, горячечный, ненужный; кого пытал он и ссылал толпами с своим генерал-прокурором Обольяниновым и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил, струсили они и вспомнили, что они такие же крепостные холопи, как их слуги. С ужасом смотрели они, как император «шутит шутки нехорошие», то того в Сибирь, то другого в Сибирь; они втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах в Москву и в свои жалованные покойной императрицей вотчины.

Там их и оставил Александр после кончины Павла; он не счел нужным вызывать из деревень маститых государственных людей, благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики, вроде екатерининских. Александр окружил себя новым поколением.

Поколение, захваченное в гвардии павловской сиверкой, было бодро и полно сил. События их довоспитали. Шуточное ли дело Аустерлиц, Эйлау, Тильзит, борьба 1812 года, Париж в Москве, Москва в Париже?

Старые гвардейцы возвращались победоносными генералами. Опасности, поражения, победы, соприкосновение с армией Наполеона и с чужими краями – все это образовало их характер; смелые, добродушные и очень недальние, с религией дисциплины и застегнутых крючков, но и с религией чести, они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.

Люди эти занимали не только все военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах и подписывая бумаги, не читая их. Они любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть, оттого что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно выучить, не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, книги и казну у нас никогда не считалось воровством. Но они не были ни доносчиками, ни шпионами и за подчиненных стояли головой.

Один из полнейших типов их был граф Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона, и как нарочно убитый в первый день царствования Николая.

Когда раненого Милорадовича принесли в конногвардейские казармы и Арендт, осмотрев его раны, приготовлялся вынуть пулю, Милорадович сказал ему: «Ну, ma foi, рана смертельная, я довольно видел раненых, так уж если надо еще пулю вынимать, пошлите за моим старым лекарем; мне помочь нельзя, а старика огорчит, что не он делал операцию». Действительно, пулю вынул старый лекарь, заливаясь слезами. После операции адъютант спросил графа, не желает ли он продиктовать какие-нибудь распоряжения. Милорадович тотчас потребовал нотариуса; но когда тот пришел,

он думал, думал – и сказал наконец: «Ну, братец, это очень мудрено, ну, так все как по закону следует, разве вот что – у одного старого приятеля моего есть сын, славный малый, но такая горячая голова, он, я знаю, замешан в это дело, ну, так напишите, что я, умирая, просил государя его помиловать – больше, ma foi, ничего не знаю».

Потом он умер и хорошо сделал.

Прозаическому, осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей, которые, раненные насмерть, помнят о старом лекаре и, умирая, не знают, что завещать, кроме просьбы о сыне приятеля. Эти люди вообще неловки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служат до конца дней своих верой и правдой; но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они не способны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю, а ходил он к нему раз пять в день, всякий раз бледнел, – вот какие люди нужны были новому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов – Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве.

Надобно, было много труда, усилий, времени, чтоб воспитать современное поколение чиновников по особым поручениям, корреспондентов, генералов «от чернил» и прочих жандармов под разными учтивыми названиями, чтобы дой-

ти до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло петербургское правительство теперь.

Да, износил, истер, исказил все хорошее александровского поколения, все хранившее веру в близкую будущность Руси, жернов николаевской мельницы, целую Польшу смолол, балтийских немцев зацепил, бедную Финляндию, и все еще мелет – все еще мелет…

У отца была белая горячка самовластья, delirium tyranorum, у сына она перешла в хроническую fievre lente. Павел душил из всех сил Россию и в четыре года свернул шею – не России, а себе. Николай затягивает узел исподволь, не торопясь, – сегодня несколько русских в рудники, завтра несколько поляков, сегодня нет заграничных пасов, завтра закрыты две, три школы… двадцать седьмой год трудится его величество, воздуху нам недостает, дышать трудно, а он все затягивает – и до сих пор, слава богу, здоров.

В царствование Николая желтая, желчная, злая фигура Аракчеева нежно исчезает – Рогнедой, плачущей на гробе Анастасии, но школа его растет, но его ставленники, его ученики идут вперед. Школа писарей, кантонистов и аудиторов, дельцов и флигельманов, людей бездарных – но точных, людей бездушных – но полных честолюбия, людей посредственных – но которых «усердие все превозмогает!»

Для этих людей, может, найдется место в министерствах и в арестантских ротах, но, наверно, нет в повестях… [В первом издании тут были пропущены несколько страниц, мы их

помещаем в том виде, в котором они были написаны в Ницце в 1851 году. (Прим. А. И. Герцена.)]

Как попал Анатоль в военную службу, трудно сказать. Эти вещи у нас делывались обыкновенно случайно. Сверх того, гражданская служба не могла нравиться, серьезно управлять имением еще не считалось делом, оставалась одна военная карьера.

Попавши в адъютанты к князю, Анатоль погибал от скуки. Юнкером он по крайней мере физически развлекался гимнастикой манежа и ученья. Адъютантом он ездил с князем на балы и обеды и праздно сидел по нескольку часов у него в зале. Но скучать ему пришлось недолго, новое скорбное столкновение воли с долгом вполне рассеяло его. В то время, когда всего менее кто-либо ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своим корпусом и идти примкнуться к войску Дибича. Все засуетилось в его армии, князь ожил, забыл свои лета, целые дни верхом делал смотры и ревизии. Офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что не будет учений, беспрерывных смотров во время похода.

Анатоль, хранивший свято юные мечты студентского периода, хотя и удовлетворялся собственным одобрением за благородное биение сердца и искренним желанием освобождения крестьян, тем не менее все благородные симпатии его были за Польшу, на которую он шел врагом, палачом, слугой деспотизма [Я рассказываю здесь план моей повести так, как

он складывался в моей голове. Разумеется, мне нельзя бы было говорить о Польше и о восстании иначе, как намеками. (Прим. А. И. Герцена.)], – что же ему было делать? Подавать в отставку было поздно, сказаться больным – выдадут за труса. С непреодолимым отвращением, почти с раскаянием явился он на поле битвы, совался в огонь без всякой нужды, но пули обходили его, а храбрость его была замечена; князь привязал ему сам георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали ему.

На приступе Варшавы граф Толь подъехал с князем к первому взятому бастиону, расцеловал майора, поздравил его с крестом и потом спросил его, указывая на толпу пленных: «Кто же у вас будет их беречь?» Майор, державший платок на ране, молчал и с испуганным недоумением смотрел в глаза генералу. «На приступе, – сказал Толь, – каждый человек нужен; если все офицеры наберут столько пленных, половина солдат выбудут из строя. – Он сделал знак рукою и прибавил: – Понимаете?» [Это истинное происшествие, рассказанное мне самим офицером. (Прим. А. И. Герцена.)] Майор понимал, но не говорил ни слова. Толь поморщился и, обернувшись к Анатолю, сказал ему вполголоса: «Господин адъютант, майор, кажется, ослаб от раны, скажите старшему капитану il faut en finir avec les prisoniers». Анатоль стоял, как вкопанный, рука его будто приросла к шляпе. «Ну, чего ж вы ждете? – Скажите, что я велел их расстрелять; адъютант ваш не очень расторопен», – заметил он князю, повертывая

лошадь и показывая ему зрительной трубой какие-то осадные работы.

Старший капитан отдал нужные приказания и сказал майору и Анатолю: «А впрочем, я охотнее пошел бы еще раз на бастион – бить безоружного не манер. Ей, – закричал он, – Федосеев, выведи людей!» Анатоль хотел ускакать, но был остановлен колонной охотников. шедших с песнями и с криками «ура!» на приступ. За ним раздались отрывистые слова команды, и ружейный залп грянул почти в то же время. Анатоль обернулся – человек двадцать пленных лежали в крови, одни мертвые, другие в судорогах – столько же живых и легко раненных стояли у стены. Одни, обезумевшие от страха, судорожно хохотали, кричали и плакали, два-три человека громко читали молитвы по-латыни, третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. В их числе был белокурый юноша; он остановил взгляд своих больших голубых глаз на Анатоле, в этом взгляде рядом с укором видно было столько презрения, что Анатоль опустил голову. У солдат дрожали руки, сам унтер-офицер Федосеев хотя для поддержания чести и говорил: «Эк живучи эти поляки!», но был бледен и не в своей тарелке.

«Вторая ширинга, впе-ред! Шай-клац!» – командовал капитан; ружья склонились и брякнули. У Анатоля потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади, но лошадь вдруг поднялась на дыбы и брякнулась наземь – осколок русской бомбы ранил лошадь и раздробил Анатолю плечо; но-

вая толпа охотников шла с песнями и гарцованьем мимо раненого. Анатоль лишился сознания.

Недель через шесть Анатоль выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Все время своей болезни он бредил о каких-то голубых глазах, которые на него смотрели в то время, как капитан командовал: «Вторая ширинга, вперед!» Больной спрашивал, где этот человек, просил его привести, – он хотел ему что-то объяснить, и потом повторял слова Федосеева: «Как поляки живучи!»

Князь, жалевший очень своего адъютанта, говорил, что он, по-видимому, контужен в голову и потому заговаривается, впрочем, надеялся, что он выздоровит, и приводил в пример разных раненных в голову в 1812 и 13 годах.

Анатоль вышел в отставку и поехал к водам. Слабый от раны и убитый духом, выехал он из Варшавы. Голубые глаза поляка преследовали его, ему казалось, что он несколько раз встречал молодого страдальца, который, может, избегнул смерти; ему казалось, что он узнает то же выражение укора, беспокойной печали и презрения, смешанного почти с сожалением. Несколько раз хотелось ему подойти, взять за руку незнакомца и рассказать ему, как он попал на поле сражения. Но польские раны были еще слишком свежи, время понимать друг друга и мириться еще не приходило, и он останавливался, боясь холодного ответа.

В Познани он на станции вышел из коляски и велел ей

ехать за собой, когда заложат лошадей, а сам пошел пешком. В нескольких шагах от деревни стояла в небольшой нише мадонна, перед ней на коленях молился молодой поляк – опять он и, может, в самом деле. Несчастный был скорее похож на мертвеца, умершего после изнурительной болезни и которого забыли схоронить, нежели на живое существо лет двадцати. Он был в военной шинели, рука лежала на перевязке, челюсть и ухо были подвязаны, сухие посиневшие губы и белая бледность свидетельствовали о лихорадке и потере крови. Он только что перебрался через границу и был еще весь под влиянием счастливого спасения; Анатоль заговорил с ним. Сначала раненый вздрогнул, не скрывая, что встреча с русским ему неприятна.

Анатоль не хотел пропустить этой встречи; он взял его за руку и просил выслушать его. Он говорил долго и горячо. Удивленный поляк слушал его с вниманием, пристально смотрел на него и, глубоко потрясенный, в свою очередь сказал ему: «Вы прилетели, как голубь в ковчег, с вестью о близости берега – и именно в ту минуту, когда я покинул родину и начинаю странническую жизнь. Наконец-то начинается казнь наших врагов, стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы, еще не все погибло!»

Анатоль был счастлив, они поехали вместе.

Что унижений, что холоду и оскорблений должен был вынести Анатоль в этом путешествии. Для каждого польского выходца в то время путешествие было рядом торжеств,

симпатических приемов; на каждого русского народы смотрели с затаенной злобой, как на сообщника Николая. Раза два граф Ксаверий должен был, избегая неприятностей со стороны раздраженной толпы, выдавать Анатоля за поляка. Действительная нелюбовь к русским идет с этого времени, мы ею обязаны Николаю.

В этой встрече Анатоля с графом Ксаверием мне хотелось представить нашу русскую натуру, широкую, но распущенную, многостороннюю, но не устоявшуюся в соприкосновении с натурой польской, определенной, испытанной, односторонней, не идущей вперед, но твердо стоящей на своей почве. У Анатоля были прекрасные стремления, но они больше определялись отрицательно и никогда не приходили в ясность. У поляка во внутренней жизни все было кончено, решено, он шел своим путем, не возвращаясь к точке отправления, не подвергая всякий шаг беспрерывной критике, не пытая его сомнением. В его образе мыслей была очевидная непоследовательность, перелом, но это не уменьшало его энергической деятельности и, главное, не мешало ему. Он был католик и революционер, аристократ и бунтовщик, светский человек в нашем смысле слова – и породистый поляк. Отважный, твердый фанатик чести, надежный, заговорщик, он был бесхитростен и беззаботен, как дитя, так что жизнь его; при всей тягости его положения, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого не было никакого внешнего несчастия.

Граф Ксаверий должен был совершенно овладеть Анатолем – познакомить его с польскими иезуитами. Их строгий чин, их наружный покой, под которыми казались замороженными все сомнения и страсти, кроме веры и энергии в деле прозелитизма, должны были потрясти его. Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела. Жена его умерла, с родственниками у него было так же мало общего, как с московской жизнью вообще, никакой сильной связи, общего интереса или общего упования. Опять та же жизнь, которая образовала поколение Онегиных, Чацких и нас всех…

Серьезность религиозных убеждений католика или протестанта часто удивляет нас; она еще больше должна была поразить Анатоля. Когда он воспитывался, тогда еще не было православных славянофилов, ни полицейского православия, не было ни накожного обращения униатов, ни мощей Митрофана Воронежского, ни путешествий к святым местам – чужим и своим – Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал еще вакхические песни, а ирмосов и кондаков не только не писал, но и не читал. Церковь, приложив кисточкой печать дара духа святого во время крещения, оставляла человека в покое и сама почивала в тишине.

Но если религиозного воспитания не было в ходу, то цивическое становилось со всяким днем труднее, за него ссылали на Кавказ, брили лоб. Отсюда то тяжелое состояние нрав-

ственной праздности, которое толкает живого человека к чему-нибудь определенному. Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими… но в русских я камнем не брошу, они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха.

Легко стало жить Анатолю, когда он переступил за порог монастыря и подпал строгому искусу ставленника-послушника. Покойная гавань, призывающая труждающихся, открывалась для него, он слушался, не рассуждая, и усталый к вечеру от работы, усиленного изучения латинского языка и разных утренних и вечерних служб, он засыпал спокойно.

Но церковь призывает не одних труждающихся, но и нищих духом. Тут, в виду католического алтаря, хотел я представить последнюю битву его с долгом. Пока продолжались искус, учение, работа – все шло хорошо, но, с принятием его в братство Иисуса, старый враг – скептицизм снова проснулся: чем больше он смотрел из-за кулис на великолепную и таинственную обстановку католицизма, тем меньше он находил веры, и новый ряд мучительных страданий начался для него. Но тут выход был еще меньше возможен, нежели в польской войне. Разве не он сам добровольно надел на себя эти вериги? Их он решился носить до конца жизни.

Мрачный, исхудалый, задавленный горьким сознанием страшной ошибки, монах Столыгин исполнял несколько лет, как автомат, свои обязанности, скрывая от всех внутреннюю борьбу и страдания.

Инквизиторский глаз настоятеля их разглядел. Боясь будущего, он выхлопотал от Ротгана почетную миссию для Столыгина в Монтевидео. И наследник Степана Степановича и Михаила Степановича, обладатель поместий в Можайском и Рузском уездах, отправился на первом корабле за океан, проповедовать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки…

Таков был мой план.

Ницца. Осенью 1851